

Дискурсивная практика теоретического мышления¹

В.И. Тюпа
МОСКВА

*Для рассмотрения коммуникативных действий
требуется теоретически конституированная перспектива
субъектов, ориентированных на взаимопонимание
(Юрген Хабермас)*

Теоретизирование не представляет собой безотносительное к языку оперирование «чистыми» эйдосами, поскольку само наше мышление является переводом с автокоммуникативного языка внутренней речи – этой практической жизни сознания – на гетерокоммуникативный язык, доступный некоторому адресату². Разрабатывать и предлагать какую бы то ни было теорию всегда означает: говорить, высказываться, осуществлять коммуникативные действия, иначе говоря, заниматься дискурсивной практикой. Поэтому, ставя перед собой вопрос, что же это такое – мыслить теоретически, – следует разграничить *теоретический дискурс* со смежными ему сферами коммуникации и, прежде всего, с дискурсом *историческим*.

Интенсивное развитие нарратологии, получившей мощный толчок и свое научное имя от структурализма 60-х годов прошлого столетия, сосредоточило внимание филологов, историков, философов на одном из типов текстопорождения – на рассказывании историй, изложении хода событий. Данный

¹ Работа выполнена в рамках междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН «Логико-математический анализ выразительных возможностей языка в представлении знания: соотношение синтаксиса, семантики и смеиотики в формализации научных теорий». Предлагаемая статья является своего рода палимпсестом по отношению к моей, пересмотренной в ряде положений, работе: «Коммуникативные стратегии теоретического дискурса» (Критика и семиотика. Вып. 10, 2006).

² Подробнее см.: Тюпа В.И. Онтология коммуникации // Дискурс. № 5/6. Новосибирск, 1998.

род дискурсии теперь именуется нарративным и рассматривается в одном ряду со всяким повествованием, в особенности – литературно-художественным (эпическим). В речевой практике человека он соседствует с дискурсами иной природы, которые в настоящее время изучены недостаточно.

Между рассказом о воображенном (не обязательно «фикциональном»), не всегда вымышленном) мире литературного произведения и рассказом о «действительном» мире, запечатленном в историческом сочинении, в самом деле, нет принципиальной разницы. Оба эти мира интенциональны – неотделимы от мыслящего их сознания. Размежевание здесь проходит в иной плоскости: художественный мир переживается эстетически (в акте эмоциональной рефлексии – переживания переживаний), тогда как фактический мир, увиденный глазами историка, познается логически, а если и переживается, то – эмпирически (в необязательных импульсах непосредственных эмоциональных реакций).

Принципиальная общность всех нарративов, если не расширять это понятие до безграничности, состоит в отмечаемой Полем Рикёром неустранимости «эпизодического аспекта построения»¹. Данное свойство нарративных дискурсов обусловлено их принципиальной *двойкособытийностью*. Наррация представляет собой класс двойкособытийных дискурсивных практик, связывающих в нераздельное единство высказывания два качественно разнородных события – *референтное и коммуникативное*. «Перед нами, – согласно классической формулировке Бахтина, – два события – событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели); события эти происходят в разные времена (различные и по длительности) и на разных местах»².

Неотождественность пространственно-временных параметров «рассказываемого» и «рассказывания» делает невозможной цельную и исчерпывающую передачу происшествия в повествовательной форме, что бывает затруднительно даже в миметической форме показа (в частности, драматургического). Нарративное изложение неизбежно оказывается *фрактальным*: «Всякий рассказ – по общепризнанной характеристике А.С. Данто – это структура, навязанная событиям, группирующая их друг с другом и исключая некоторые из них как недостаточно существенные»³. Иначе говоря, наррация – это неизбежная *эпизодизация* событийности бытия, раздробление цельности происшедшего на систему эпизодов: участков текста, «отличающихся друг от друга местом, временем действия и составом участников»⁴.

В качестве конструктивно значимого фрагмента повествовательного текста эпизод образуется обозначением: а) разрыва во времени (длительность или скоротечность паузы несущественны); б) переноса в пространстве; в) переменной в составе актантов (появление/исчезновение действующего лица или фактора). Размежевание эпизодов достигается одним, двумя или всеми тремя из этих способов и в большинстве случаев (но не всегда) сопровождается повествовательной паузой, в письменном тексте манифестируемой абзацем, хотя

¹ Рикёр П. Время и рассказ. М.-СПб., 2000. Т. 1. С. 186.

² Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 403-404.

³ Danto A.C. Analytical Philosophy of History. Cambridge, 1965. С. 132.

⁴ Поспелов Г.Н. Проблемы литературного стиля. М., 1970. С. 54.

хронотопическое единство эпизода может потребовать для себя и целого ряда абзацев.

Равнопротяженная нарративному тексту цепь таких единиц рассказывания – то есть развертывания истории для адресата коммуникации – складывается в смыслообразную систему отношений последовательности, подобия, контраста, нарастания или убывания, чередования, повтора, параллелизма. При этом некоторые эпизоды оказываются в маркированном положении начального, конечного, центрального, а также переломного, ключевого в том или ином отношении¹. Эта неустраняемая, но свободно варьируемая системная эпизодизация повествования в комплексе с композиционным членением текста на главы и внутритекстовые дискурсы представляет собой некую *нарративную стратегию*, которая не принадлежит самому рассказчику.

Фигурой нарратора определяются повествовательные паузы (абзацы) и *фокализация* повествования: точка зрения, фокусировка внимания адресата на деталях, особенностях, ракурсах рассказываемого. Тогда как нарративная стратегия репрезентации референтного события в системе эпизодов принадлежит имплицитному автору – этому своего рода *режиссеру наррации*. Организация системы эпизодов открывает перед ним различные возможности интерпретации событий в ходе их изложения. Однако интерпретация такого рода носит сугубо индивидуализирующий, «контртеоретический» характер.

Интенция теоретического дискурса состоит в его предметно-смысловой направленности не на событийную, а на процессуальную сторону бытия – в ее законосообразной *итеративности* (повторяемости). Но освещение не актуального, открытого для нарративности, а виртуального мира, или – словами Мирчи Элиаде – «жизни, сведенной к повторению архетипических деяний, то есть к *категориям*, а не *событиям*»², требует принципиально иной – анарративной дискурсии.

Древнейшей модификацией текстопорождения такого рода, согласно О.М. Фрейденберг³, а позднее – и Ю.М. Лотману, был миф как особый (прото-сюжетный) строй высказываний, сводивший «мир эксцессов и аномалий, который окружал человека, к норме и устройству» – вместо не освоенной еще первобытным сознанием нарративной «фиксации однократных событий»⁴. В этом отношении теоретическое мышление оказывается прямым наследником мифологического.

Жерар Женетт исследовал итеративность, которая «находится на службе ... у сингулятивного повествования»⁵ – т.е. в текстах «с нарративной доминан-

¹ См.: *Тюпа В.И.* Анализ художественного текста. М., 2006. С. 41-48, 310-319.

² *Элиаде М.* Миф о вечном возвращении. СПб., 1998. С. 133 (курсив Элиаде).

³ См.: *Фрейденберг О.М.* Происхождение наррации // О.М. Фрейденберг. Миф и литература древности. М., 1978.

⁴ *Лотман Ю.М.* Происхождение сюжета в типологическом освещении // Ю.М. Лотман. Статьи по типологии культуры. Вып. 2. Тарту, 1973. С. 11-12.

⁵ *Женетт Ж.* Повествовательный дискурс // Ж. Женетт. Фигуры. Т.2. М., 1998. С. 144.

той»¹. Однако не следует упускать из виду широкий круг текстов с доминантой итеративной. Такова природа не только собственно мифологического дискурса или описательной лирики, но также множества технических и научных текстов, в частности – работ теоретического характера, примером которых может служить настоящая статья.

Размежевание нарративности и анарративности целесообразно проводить, исходя из всех трех «дискурсивных компетенций» (Альгирдас Греймас), определяющих природу любого высказывания: референтной, креативной и рецептивной². Коммуникативные компетенции теоретического или какого-либо иного дискурса соотносятся с «позициями в дискурсивном поле» (Патрик Серю), обозначенными еще Аристотелем, и мыслятся как «специфические ограничения, которые уменьшают выбор того, что можно сказать»³ и как это можно сделать. Соответствующими рамками коммуникативной специализации очерчиваются границы определенной дискурсивной практики.

Референтная компетенция теоретизирования ограничена итеративностью закономерных процессов. Континуальность процесса не предполагает сколько-нибудь произвольного членения его на эпизоды, поскольку последовательность ситуаций (от t-1 через t-2 к t-3)⁴ здесь не эвентуальна, а *стадиальная* – сущностно последовательна и не зависима от наблюдателя как «свидетеля и судии» событийности⁵. Если референтная компетенция нарративного дискурса являет собой «значимое уклонение от нормы ... поскольку выполнение нормы “событием” не является»⁶, то компетенцию дискурса теоретического составляет как раз выявление «нормы». Иначе говоря, теория – это не повествование, а рассуждение.

Рассуждение членится иначе, чем рассказывание. Вместо цепи эпизодов оно представляет собой цепь *дефиниций* (в широком значении снятия неопределенности, установления интеллигибельных границ определяемого явления), распространяемых соответствующей *аргументацией*. Это последовательность тема-рематических единств виртуальной нормализации того или иного жизненного процесса, «перерабатывающей, – по выражению М.Л. Гаспарова – многомерную сложность предмета в дискурсивную линию»⁷. Степень развернутости-свернутости дефинитивных «шагов» (тезисов) рассуждения, обычно оформляемых в абзацы, может быть весьма различной. Если длина эпизодов

¹ Женетт Ж. Границы повествовательности // Ж. Женетт. Фигуры. Т.1. С. 292.

² О неориторическом понятии компетенций дискурса см.: Тюпа В.И. Основания сравнительной риторики // Критика и семиотика. Вып. 7. Новосибирск, 2004.

³ Серю П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М., 2002. С. 28, 30.

⁴ См.: Danto A.C. Analytical Philosophy of History.

⁵ Ср.: «Главное действующее лицо события – свидетель и судия» (Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 341).

⁶ Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 283.

⁷ Цит. по: Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон-Бахтин-Лотман-Гаспаров. М., 2009. С.447.

повествования зависит от обилия детализации (детализирующей фокализации), то длина конструктивных единиц рассуждения – от обилия аргументации.

Так, книга первая «Риторики» Аристотеля¹ начинается с утверждения: «Риторика соответствует диалектике», – составляющего тему первого абзаца и разъясняемого последующими аргументами в качестве его ремы (4 предложения, занимающие 11 строк). Следующий абзац (3 предложения, 15 строк) открывается аргументируемым далее резким утверждением: «Те, кто исследует ныне искусство речи, не внесли в риторику ни малейшего вклада»². Очередной абзац из 1 предложения (6 строк) примыкает к предыдущему в качестве дополнительного развертывания его рематических аргументов: «Кроме того...» И т.д.

Если сущность нарративной коммуникации многочисленными ее исследованиями в значительной степени прояснена, то о коммуникативной природе теоретических дефиниций этого сказать нельзя.

В нарратологии упрочилось представление о двуаспектности нарративного текста, обладающего «диегетической (т.е. относящейся к повествуемому миру)» и «экзегетической (т.е. относящейся к акту повествования)»³ сторонами; или – иначе говоря – о двоякой событийности нарратива: референтной и коммуникативной. За пределами же непосредственного объекта нарратологических исследований остаются, прежде всего, монособытийные явления *авто-референтности и автокоммуникативности*.

Автокоммуникативное «сообщение самому себе уже известной информации ... имеет место во всех случаях, когда при этом повышается ранг сообщения», переводимого в систему знаков, «обладающих другой степенью авторитетности в данной культуре», и осуществляющего тем самым «уяснение внутреннего состояния» субъекта коммуникации⁴. Автокоммуникативны, прежде всего, ментальные события перевода содержания сознания с имплицитного языка «внутренней речи» (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, В.Н. Волошинов) на эксплицитный (общекоммуникативный) язык межсубъектного общения. Всякое формирование мысли, самый процесс мышления является такого рода переводом, реализующим «рефлексивный ресурс понимания»⁵.

Рождающиеся при этом «дискурсы молчания» (Выготский различал речь «внутреннюю» от речи «молчаливой») могут быть высказаны вслух или обозначены на письме. Тем самым они приобретают особый гетерокоммуника-

¹ Аристотель. Риторика. Поэтика. М.: Лабиринт, 2007 (перевод О.П. Цыбенко под ред. О.А. Сычева и И.В. Пешкова)

² В переводе Н. Платоновой (Античные риторики. М.: МГУ, 1978) тональность этой фразы смягчена, разворачивание тезиса расчленено на 5 предложений, но не выделено в особый абзац, хотя в данном случае очевидно, что перед нами уже следующий шаг рассуждения.

³ Шмид В. Нарратология. М., 2005. С. 20.

⁴ Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Труды по знаковым системам, VI. Тарту, 1973. С. 228.

⁵ См.: Автономова Н.С. Познание и перевод. Опыты философии языка. М., 2008.

тивный статус, ибо ментальное событие возникновения мысли не совпадает с коммуникативным событием ее экспликации (вторичной семиотизации). Дистанция между референтной и коммуникативной сторонами высказывания в данном случае не пространственно-временная (нарративная), поскольку говорящий может рассуждать вслух прямо перед слушающим, но архитектурная – это дистанция между внутренним и внешним аспектами бытия.

Внешнетекстовые манифестации автокоммуникативности, преобразующие ментальное событие одного сознания в собственно коммуникативное событие взаимодействия двух или нескольких сознаний, могут именоваться *ментативными*.

Данный термин, весьма удачный по отношению к лирике или эссеистике, предложен Н.В. Максимовой и И.В. Кузнецовым¹. К сожалению, названные авторы в своих теоретических рассуждениях чрезмерно расширяют область ментативной дискурсии, включая в ее состав – помимо эссеистики – научный, философский, религиозный дискурсы и неопределенно многое другое. Причина такой избыточности – упрощение проблемы: игнорирование иных родов дискурсии (в особенности перформатива) и размежевание нарративности и ментативности исключительно по признаку «референции» – «к хронотопической протяженности» в нарративе или «к мышлению» в ментативе. Между тем, как ментальное событие в сфере мышления может быть рассказано нарратором (прозрения литературных героев, например, Толстого), а хронотопическое может получить ментативное освещение (таковы многие стихотворения в прозе, например, Пришвина).

Автореферентной природой обладают *перформативные* высказывания: иллюкутивные акты прямого речевого воздействия (зов, просьба, приказ, предупреждение, побуждение к сопереживанию или совместной деятельности), а также молитва, клятва или магическое заклинание, присвоение имени или провозглашение статуса и т.п. Во всех подобных дискурсах высказывание свидетельствует о собственной событийности, не отсылая ни к какому иному событию. Джон Остин, выявивший такого рода дискурсы как преобразующие саму коммуникативную ситуацию говорения, противопоставил их «констативам», к числу которых принадлежат и все нарративные тексты. Рассказывание, конечно, может преобразить саму ситуацию общения, но этот факультативный результат не предполагается дискурсивными компетенциями нарратива.

Сложный случай перформативности представляет собой молитвенный дискурс. Личное молитвословие – это коммуникативное событие, которое разыгрывается в одном сознании, но состоит оно в выходе за пределы человеческого сознания (в трансценденции). Это обращение не к себе, а к Другому во мне (к избытку моего «я») – к пребывающему во мне Святому Духу) является автоперформативным: неформальная молитва преображает самого молящегося. О молитве как внешнем или даже внутреннем поведении человека можно рассказать, но сама молитвенная трансценденция наррации недоступна.

¹ См.: *Максимова Н.В.* Чужая речь в нарративе и ментативе // Слово. Словарь. Словесность. СПб., 2004; *Кузнецов И.В., Максимова Н.В.* Текст в становлении: оппозиция «нарратив – ментатив» // Критика и семиотика. Вып. 11. Новосибирск – Москва, 2007.

Итак, задумаемся: к анарративности какого рода следует отнести теоретические рассуждения? Может показаться, что они являются ментативными «размышлениями вслух» (или «на письме»), уясняющими состояние субъекта. Однако, не будучи упорядоченной системой дефиниций, ментатив не составляет теоретического высказывания. Дефиниция же отнюдь не автокоммуникативна – она авторефлексивна. Давая чему-либо выверенное, рефлексивными усилиями «отредактированное» определение, субъект ранее уже пережил ментальное событие понимания (перехода сознания от прежнего состояния к обновленному) и теперь формирует аналогичное своему ответное понимание адресата. То есть по сути своей дефиниция *перформативна*.

Однако – в отличие от перформатива практического, обладающего иллюкативной действенностью, для которого адресат служит одновременно и предметом речевой акции, – теоретический перформатив в первую очередь направлен на некий виртуальный объект. Теоретизирование если и не преобразует свой объект, то, по крайней мере, мысленно преобразует: отмежевывает, идентифицирует, проясняет, углубляет, ориентирует среди иных виртуальных объектов, устанавливая его статус. Природа этой интеллигибельной действенности теоретического дискурса глубоко укоренена в мифе, поскольку в своей референтной компетенции теория до известной степени аналогична магическому *заклинанию* объекта.

Задавая вопросом о *креативной компетенции* теоретического рассуждения, мы должны помыслить фигуру теоретика как одну из возможных «форм авторства» (Бахтин).

Нарратор – прямой или косвенный свидетель события, актуализатор его событийности, инстанция, опосредующая коммуникативное отношение между автором как своего рода «режиссером» наррации и адресатом текста. Вслед за Францем Штанцелем¹, Джеральдом Принсом² и рядом других нарратологов полагаю, что наличие между событием и читателем (слушателем) преломляющей коммуникативной среды, которую и принято именовать повествованием, составляет неустранимую креативную особенность нарративного дискурса. Данное положение, несмотря на эпизодичность драматургического текста, откачивает этому литературному роду в нарративном статусе.

В ментативном дискурсе, остающемся – в противовес перформативу – высказыванием эгоцентрическим, однако текстуально преодолевающим породившую его автокоммуникацию, между креативной и рецептивной инстанциями, как и в нарративе, неизбежно возникает инстанция опосредующая. Это не всяким читателем различимая, но не тождественная авторской фигура размышляющего «медитатора», обычно именуемого в литературоведении «лирическим героем».

В тексте же, организованном как диалог без повествования, опосредующей инстанции нет. Здесь креативная позиция авторства скрыта, события не рассказываются, а вербально «показываются», репрезентируются непосредственным воспроизведением реплик их участников, вследствие чего – в отсутствие нарратора – актуализатором событийности оказывается зритель-

¹ См.: Stanzel F.K. Theorie des Erzählens. Göttingen, 1979.

² См.: Prince G. A Dictionary of Narratology. Lincoln, 1987.

слушатель. Такой дискурс, в греческой античности именованный миметическим, воспроизводит по большей части перформативные высказывания межсубъектного взаимодействия и сам может трактоваться как метаперформативный, оказывая непосредственное речевое воздействие (катарсис) на воспринимающих.

При всей разнонаправленности референтных интенций теоретика и драматурга, разворачивающих перед адресатом картину итеративного процесса (первый) или единичного события (второй), креативные их компетенции близки в своей перформативности. Теоретик – организатор прямого коммуникативного воздействия, призванного изменить сознание адресата, стать для него ментальным событием откровения некоей возможности более эффективного понимания теоретизируемого объекта.

Поэтому далеко не всякий высоко интеллектуальный разговор на теоретические темы является собственно теорией. Антуан Компаньон не кривит душой и не кокетничает, когда заявляет, что у него в качестве автора книги «Демон теории» никакой теории нет – «одна лишь доктрина безграничного сомнения»¹. Заявленная этим автором «апоретическая позиция скептического (критического) ученичества», задача которого – «допытываться до предпосылок» любой дискурсивной практики² и, в частности, «демифологизировать теорию»³, представляет собой весьма удачную формулировку креативной компетенции *критического* дискурса. Такой дискурс является подлинным ментативом, порождением автокоммуникации, сталкивающей теоретические апории, дабы «встряхнуть расхожие идеи, низвергнуть спокойную совесть или самообман интерпретации»⁴. И не удивительно, что собственно теоретическая проблематика книги отступает на второй план⁵ и постоянно остается в тени творимого ею образа лирического героя-скептика, для кого «критика критики представляет собой наименее плохой режим»⁶. Однако отождествление критического релятивизма с теорией, которая якобы «важна постольку, поскольку идет наперекор интуиции»⁷, на мой взгляд, является принципиальной ошибкой демонизирующего теоретического мышления автора.

В основе всякой действительной теории обнаруживается инновационный *концепт* (или инновационная конфигурация концептов), обладающий для теоретика допредикативной очевидностью своего смысла. Теоретическое построение поистине состоит в «заклинании» своего рода: в интеллигибельно преобразующем конструировании (а не деконструкции!) денотативной области значений актуализируемого концепта, то есть в формировании *категории*

¹ Компаньон Антуан. Демон теории. М., 2001. С. 26. (Перевод С. Зенкина).

² Там же, С. 26-27.

³ Там же. С. 304.

⁴ Там же. С. 301.

⁵ Согласно экспрессивному авторскому образу: «La théorie en France fut en feu de paille» (Compagnon Antoine. Le démon de la théorie. Paris, 1998. P. 10), – т.е.: «Теория во Франции выгорела, как жнивье».

⁶ Компаньон Антуан. Демон теории. С. 304.

⁷ Там же. С. 301.

(Элиаде) и введении ее в сложившуюся систему категорий (нередко ценой перестройки всей этой системы). Введение новой или инновационно переосмысленной категории требует соответствующего термина. (Триада термин – категория – концепт представляет собой очевидную модификацию треугольника Фреге). Так складывается некий идиолект интеллигентности, чем каждая теория, рассмотренная со стороны своей креативной компетенции, в сущности, и является.

В конечном счете, креативная компетенция теоретического дискурса состоит в непосредственно демонстрируемой инновационности когнитивного (в частности, научного или философского) языка или «диалекта» научной школы, на котором осуществляется данное высказывание. Разбираться в какой-либо теории означает учиться ее языку, иногда близкому адресату, теоретически мыслящему на сходном диалекте, иногда далекому и чуждому для него. Такого рода семиотическая инновационность теоретическому мышлению столь же необходима, сколь она, напротив, неуместна в религиозном дискурсе (исключая теоретико-богословские тексты).

Понятие рецептивной компетенции дискурса очерчивает круг реципиентов, адекватных конституируемой высказыванием виртуальной фигуре адресата. У всякой подлинной теории – в отличие от ее квазитеоретических критик или, напротив, популяризаций – такой круг не может быть слишком широк. Он включает в себя носителей специального знания, охватываемого данной теорией. Ибо принципиальное отличие теоретических высказываний от дескриптивных или декларативных состоит в том, что они не просто информируют о состояниях или процессах бытия или мышления, но, будучи перформативными речевыми актами, предполагают – в качестве коммуникативного события – некоторое ментальное событие взаимопонимания с адресатом.

Коллизия теории и «здорового смысла», разыгранная Компаньоном, – ложная коллизия, поскольку никакая научная теория не адресуется к непредвзятому «натуральному» мышлению. Она обращена к носителям научного знания, которое конструктивно переосмысливает, внося в него новое понимание объясняемой итеративности. Такое понимание нуждается не столько в эмпирической опытной проверке, сколько в сверхопытной верификации смысла – в intersubъективном семантическом поле других сознаний.

Теоретичность состоит в концептуализации интуитивного содержания допредикативных очевидностей собственного мышления – в intersubъективном направлении: для «своего другого». Собственно теоретическое высказывание представляет собой не декларативную вербализацию рефлексии, но проективную экспликацию своего референтного содержания, то есть его «выкладку», «развертку» для другого сознания – в качестве своеобразного «приглашения» к участию в совместном интеллектуальном «проекте». Перформативное высказывание как проект ментального события – события инновационного понимания той или иной процессуальности бытия – и представляет собой, по-видимому, современный теоретический дискурс в строгом значении этого понятия.

В связи с этим, помимо предполагаемого той или иной теорией уровня специальной компетентности, адресат теоретического дискурса призван обладать некоторым коммуникативным ресурсом сознания. Таких ресурсов, как

репродуктивность (необходимая для накопления знаний), регулятивность (необходимая для получения инструкций) и даже критическая самостоятельность мышления, при встрече с теоретической аргументацией недостаточно. Для постижения предлагаемой теории некоторого объекта необходимо постичь и миропонимание самого теоретизирующего субъекта.

Поскольку теоретическое высказывание базируется на некоторых необщепринятых концептуальных основаниях, разворачиваемая им система аргументации обладает собственной логикой. Ответное понимание со стороны адресата должно принять заданность такой логики как одной из возможных по отношению к сущности данного объекта. Ограниченное рамками одной единственной логики – по крайней мере, в гуманитарных ситуациях современной культуры – теоретическое мышление представляется невозможным: безальтернативное обобщение есть акт веры, а не теоретического познания, которое по природе своей вероятно. От теоретизирующего сознания требуется владение способностью мыслить в нескольких логиках.

Полилогия как возможность перехода на иную позицию по отношению к известным ранее фактам, возможность переноса чужой точки зрения внутрь собственного опыта обеспечивается коммуникативным ресурсом солидаризации неотождествимых в своей уникальности субъектов. *Солидарность* человеческого мышления, которая, по формуле Бахтина, состоит в доверии к чужому слову без благоговейного прития, составляет необходимое условие адекватного восприятия теоретического дискурса.

Дело в том, что читать текст теоретика как ряд утверждений, каждое из которых по отдельности может быть оспорено, совершенно бесперспективно: действительная теория, по необходимости развернутая в цепь аргументированных дефиниций, по природе своей все же не дробится на отдельные утверждения. Она состоит в той экспликативной энергии теоретизирующего разума, которая скрепляет эти дефиниции, инспирируя ментальные события чужого понимания (взаимопонимания). Впрочем, присутствие такой энергии нередко становится особо ощутимым не столько в законченном теоретическом построении, сколько мощно прорываясь сквозь хрупкую оболочку фрагментарных записей теоретической мысли (например, Бахтина).

Чуждая теория, разумеется, всегда может быть отвергнута. Но отвергнутой по существу, а не по прихоти, она делается только после того, как была предварительно «на пробу» принята в акте солидарного мышления.